

Есть дни, которые нам посылаются Сверху. Не знаю, в награду ли, а может быть, для искушения или испытания. Это уже не имело значения, после того как она посмотрела на меня и смертельно ранила двумя зелеными лучами. Но кровь не стала вытекать, а застыла во мне. И когда она обняла меня и я вдохнул смертельный запах ее волос, то сказал: прости меня, Боже, но силы покинули, я остаюсь только для Тебя и ухожу от людей.

Звали ее по-другому, но я назвал ее Хохлушей.

Хохлуша склоняет аккуратную головку на мое плечо, волосы ниже пояса, целует руку и шепчет: «Нікому не віддам!» («Никому не отдам!»)

Хохлуша говорит про моего друга:

— Бачиш, яка в нього душа, вона відчула, що ти замість Христа живеш із нами... («Видишь, какая у него душа, она почувствовала, что ты вместо Христа живешь с нами...»)

Я глажу Хохлушу по аккуратной головке,правляю завитушки на шее и шепчу тихо и жарко:

— Жеребенок, ты скакал, скакал и примчался ко мне. И теперь куда я, туда и ты, куда ты, туда и я.

Хохлуша закрывает глаза и уходит в свой мир, где у нее полно забот о людях, которых она любит. Она и молится со мной так, что все ее просьбы — о других, и держит в молитве мою руку, и гладит ее своей ладошкой.

У нее маленькие розовые пятки и крошечные мизинцы. Я целую ее нежную пятку и мизи-



нец, приговариваю: «Ну что это за карапузничек передо мной, ну се такое, ну се такое!» Она весело повторяет за мной: «Ну се такое, ну се такое!» И смеется. И ищет губы. И закрывает глаза. А потом внезапно их открывает и пронзительно смотрит, как будто ищет запрятанную от нее тайну. Но вскоре ее глаза успокаиваются, и в них уже плавают туманы с разгаданными секретами.

Иногда она замирает и превращается в другую женщину, и на лице у нее одновременно радость и мука. Я не знаю, отчего у нее на лице эта смесь чувств. Она никогда и не скажет мне об этом. И никому не скажет. Я порой догадываюсь, что там. Мне кажется, она любит всех — и никого не любит.

Все хорошее она называет уменьшительными именами: *кефирчик, вкусенько, тепленько*. Я говорю ей: «Ты — Элизабет Тейлор, ты игруля, хитрюля, звереныш...» Она смотрит на меня и молчит, и я опять тону в этой зеленой волшебной глубине. Тянет нас в этот омут, хотя знаем, что затянет и убьет, а все равно в радостном дрожании души движемся к ней, к своей сладостной смерти.

Хохлуша удивленно разглядывает, берет в свою маленькую изящную руку мои пальцы:

— Оченята твої такі наївні... Подивися, всі хочуть чогось від тебе і обманюють тебе, а ти віриш... Ой, яка ж ти стара дитина! («Глаза у тебя такие доверчивые. Погляди, все чего-то хотят от тебя и обманывают тебя, а ты веришь... Ой, какой же ты старый ребенок!»)

У Хохлуши глаза меняют цвет. В сумерках они синие, с туманной поволокой, а заглянешь в них — они уже зеленые, терпкие, и когда их целуешь, чуть-чуть пахнут мятой. Однажды она замерла, долго-долго смотрела на меня и говорит:

— Ото ти підеш на небо, бо ти старенький, а я залишуся тут, бо я молоденька, і залишиш мене одну-однісіньку. А я не хочу, мени краще піти з тобою... Ой, любенько мій і горенько моє! («Вот пойдешь на небо, потому что ты старенький, а я одна останусь, ведь я молоденькая. Оставишь меня одну-одинешеньку. Ох, любимый ты мой и горюшко мое!»)

И запела колокольчиковым голосом:

— Ой казала мені мати і приказувала, щоб я хлопців у садочок не принаджувала. Ой мамо, мамо, мамо, не принаджувала!

Я писал своему другу: «Моя жизнь — туманная-претуманная, но иногда из тумана выходит Хохлуша, как маленький жеребенок, и шепчет слова, пахнущие земляникой и теплым хлебом».

Говорю:

— Хохлушенька, губы твои мягкие, словно у лошадки, и сама ты ладная, будто лошадка, вырезанная из теплого камушка.

Она прижимается головой к моей руке и бормочет, точно во сне:

— Не вмирай, не вмирай, не вмирай... («Не умирай, не умирай, не умирай...»)

Я шепчу в ответ:

— Всегда приходит утро, если мы остаемся живыми. Умереть легко — жить трудно. Не спеши говорить «до завтра». А вдруг хохлуши продлевают жизнь...

Она опять сладко бормочет:

— Я продовжую життя, я тебе не відпускаю... хохлуші продовжують життя. («Я продлеваю жизнь. Я тебя не отпускаю... хохлуши продлевают жизнь».)

Хохлуша читает мою книгу. Отворачивается, вижу нежный изгиб ее шеи: «А чего ты з другою

дівчиною плавав, а не зі мною? Я хочу поплакати з тобою...» («Почему ты плакал с другой девушкой, а не со мною? Я хочу поплакать с тобой.»)

Она придвигается, кладет ладошки на мои плечи, смотрит не мигая, глаза ее, как маленькие озера, наполняются слезами. И я начинаю плакать вслед за ней, мы тихо плачем вместе. Потом она прикасается маленьким носом к моему носу. И я готов в эту минуту умереть.

Мы сидим в ресторане, где пекут озерных лососей. Их приносят нам на кедровых дощечках. Хохлуша замерла, рассматривает рыбу, приготовленную с дымком, нюхает, смешно морща носик. У молодого официанта узенькая поросль по щекам и блуждающий где-то вдалеке взгляд. Он все время что-то путает, забывает. Хохлуша определяет:

— То він вчора багато текіли випив і якусь дівчину покохав... («Он вчера много текилы выпил и одну девушку полюбил...»)

Мне становится интересно, и я говорю официанту по-английски:

— Эта девушка думает, что вы влюблены.

Официант озирается вокруг, нет ли рядом метрдотеля, и, комкая слова и бросая быстрые взгляды на Хохлушу, сообщает:

— Да, она правду говорит. Девчонка из Бразилии вчера была со мной, и теперь не могу ее забыть.

Он почти всхлипывает:

— Буду ее искать, но кто знает, где она теперь...

Чешет бородку, снова забывает поставить на стол принесенные соусы и уносит их обратно. Хохлуша смотрит ему вслед: «Кажуть що від кохання втрачають пам'ять. А я навпаки, все пам'ятаю...» («Говорят, от любви теряют память, а я, наоборот, все помню...»)

Рыба почти как с костра. Хохлуша кладет в рот маленькие розовые кусочки рыбы, ей вкусно, зажмуривает глаза от удовольствия. Приносят бокал рислинга, она мелкими глоточками выпивает вино и осматривает зал счастливыми детскими глазами.

Ресторан соединен с баром «Синий пингвин». На Хохлушу нападает приступ смеха, она говорит нашему официанту:

— Ой, матинко моя, ти загубив Бразілію! («Ой, мамочка моя, ты потерял Бразилию!»)

Официант тарасит глаза, я перевожу: «Она говорит, что твоя девушка найдется...»

Официант не верит, пыхтит и краснеет. Приходится дать ему двойные чаевые.

Хохлуша берет меня за руку, и мы проходим в «Синий пингвин». Там полумрак, посетители тонут в глубоких креслах. Многие курят кальян: в зале смешение разных запахов — яблочного, абрикосового, апельсинового. Льется счастливая журчащая музыка. Между нашими креслами столик, через него мы смотрим друг на друга. Мне кажется, что потолок над нами приподнимается и открывает обнаженное синее небо в серебряной татуировке звезд. Я говорю: пойду потанцую со звездами. Снимаю кроссовки, закатываю джинсы и выхожу на танцпол. Здесь никого, кроме меня, нет. Пол холодит босые ноги, сладкая музыка уводит в край, где живут мечты; они разноцветные, много оранжевых и фиолетовых. Мечты машут мне руками с нанизанными на них кольцами и браслетами. Не знаю, что это была за музыка. На сцене не стоял худой негр с саксофоном-альтом, возле него толстый вальяжный мулат с трубой. У обоих губы были как разрезанные сардельки. Они выдували прекрасную нежную музыку, в которой таилось счастье, серебристое, как маленький звзрек. У обоих были затуманенные глаза. Этой музыкой они хрипло и нежно гладили воздух, одновременно рассеивая вокруг печаль и радость. Они ловили посланные с неба осколки радуги и вплетали их в отчаянные крики трубы и густой шепот саксофона. А потом включился контрабас, и его звуки были каплями янтарного меда, падающими в густую траву. И вдруг заклекотал рояль, замахал черно-белыми крыльями, призывно и нежно заговорил о любви, и рассыпался цоканьем дождя по крыше, и неожиданно, словно мустанг, вырвавшийся из табуна вперед, резко осадил, вздыбился, приседая на задние ноги. И все длился, все не заканчивался этот дивный рассказ о жизни, о слезах, о раненых сердцах, о том, что рай далеко, но в нашей грешной жизни мы можем услышать небесные звуки рая.

Трубач поменял трубу на кларнет и заиграл соло. Кларнет изобразил ручей, его журчание, шелковое жужжание пчел, радостный крик птицы над водным зеркалом и в конце загудел голосом заходящего розового солнца: оооо-о, шууууу-у — и замер.

Все музыканты стали другими, они стояли, как в облаке. Они не понимали вопросов, обращенных к ним, а только музыку. В ней они видели птиц, бабочек, стрекоз, в ней им открывался невидимый дух любви, витающий над землей.

Я закрываю глаза, раскачиваюсь, почти растворяюсь, плыву по воздуху. Я плыву к ним, а мечты отдаляются, отдаляются, и я кричу на весь зал:

— Вы хоромываете меня!

И они обомом отвечают: да-а-ааааааа!

Кто-то прикасается ко мне, это администратор зала: «Вы о'кей?» «Да, — шепотом говорю ему, — мне до ужаса хорошо и потому хочется танцевать и плакать».

Я вижу одинокую Хохлушу и иду к ней. Глаза у нее печальные, но она смеется:

— Ты був такой кумедний! Ты хотів вхопитися за зірку, а вона вирвалася з твоїх рук і попливла в небо... («Ты был таким смешным! Ты хотел схватиться за звезду, а она вырвалась из твоих рук и поплыла в небо...»)

Я сажусь, а Хохлуша уходит в танцевальный круг. Тоже танцует босой. Я вижу ее узкие лодыжки, нежные щиколотки, изгибы тела, танцующие вместе с ней, она поднимает руки, как будто тянется к небу, смоляные волосы нежно размываются, глаза полузакрываются, как будто все это происходит во сне. Люди смотрят на нее, как на девочку, прилетевшую с другой планеты. Мне казалось, что музыка описывает все то, что живет сейчас внутри Хохлуши. Вначале музыка была робкой. Потом вдруг закричала и запела: я вырываюсь, я вырываюсь из старой жизни, я взлетаю над серой полосой дороги, я разрываю зубами пути на руках и на душе, я наполняюсь нежностью, очень родной и тихой. Птицы и листья знают меня и кружатся надо мной.

Саксофон и труба разом перешли на шепот: скажу всем по секрету, я счастливая, счастливая за всех женщин нашего рода, за маму, бабушку и других. Люди, любите друг друга и меня...

Музыка заканчивается, она останавливается и возвращается оттуда, где пребывала танцующая. Находит глазами меня, иду к ней, спешит навстречу, хрупкий, прекрасный жеребенок. Тонкими пальцами касается моей щеки, я целую их, она говорит:

— Я була там, де живуть ніжні, щасливі люди. Там був і ти... («Я была там, где живут нежные, счастливые люди. Там был и ты...»)

Хохлуша сидит на веранде, рядом с ней — ваза с вишнями. День заканчивается, и закат, тоже темно-вишневый, согревает вишни и Хохлушу. Она что-то говорит закату, а потом берет вишенку, долго рассматривает ее, вздыхает, потом целует. Заметила мой взгляд, засмушалась. Я говорю:

— Да ты не стесняйся, это хорошо, что ты вишенку поцеловала. Это значит, что сердце у тебя хорошее, вишневое, как этот закат, и сладкое, как эта вишенка.

Хохлуша снова берет в руки вишенку и медленно отвечает тоненьким голосом:

— Вони всі наші сестрички та братики... Їх можна цілувати... Вони ж рідненькі... І вони допомагають нам... («Все они наши сестрички и братики... Их можно целовать... Они такие родненькие... И они помогают нам».)

Господи, мне аж больно стало от ее слов. Я и не знал, что особая нежность может пронзить, как боль.

— А что ты сказала закату, если это не тайна?

Хохлуша глянула на меня прозрачной зеленью и прошептала:

— Нічого особливого не сказала, і це не таємниця. Тільки побажала йому доброї ночі... («Ничего особенного не сказала, и не тайна это. Только пожелала ему доброй ночи...»)

Я отвернулся и подумал себе: вот бы политикам услышать эти слова, может быть, что-то перевернулось бы в их душах.

Говорю ей:

— Хохлушенька, медовичок мой и горькая полынушка моя, свожу я тебя в место, где кажется, что жизнь останавливается, где все люди становятся добрыми и молодыми, где под столами ходят невидимые коты и трутся мягкими спинами о ноги. Это место называется «Ужин в раю».

Хохлуша хлопает в ладоши, но вдруг застывает:

— А хіба ж я твоя гірка полин-трава? Ти завжди шепотів мені, що я солодка... («Разве я твоя горькая полынь-трава? Ты ведь всегда шептал мне, какая я сладкая...»)

— Хохлушенька, ты самая сладкая на этой земле, а горько мне становится, когда я вспоминаю, что скоро уйду в небеса, а ты, жеребенок, останешься на земле, и я смогу приходить к тебе только во снах...

Она протянула ко мне руку, как веточку, и стала грозить пальчиком с колечком:

— Не вирішуй свою долю замість Бога. У нас кожен день, як рік, і ми з тобою багато років будемо разом. Не кажи так, щоб мені хотілося плакати, кажи так, щоб мені хотілося сміятися. Рідненький мій... («Не определяй свою судьбу за Бога. У нас с тобой каждый день как год, мы еще много лет будем вместе. Не говори так, чтобы мне хотелось плакать, говори так, чтобы мне хотелось смеяться. Родненький мой...»)

Мне бывает трудно на нее смотреть. И сейчас было очень трудно. Я просто склонил голову и кивал, кивал в знак согласия, хотя знал, что сказал правду.

Не знаю, бывают ли ужины в настоящем раю, но в этом земном раю мне показалось, что я уже не на земле. Откуда в этом ребенке такая нежная сила? Смотришь на нее и сказать ничего не можешь, летишь, как в тревожном, но прекрасном сне, куда летишь, не знаешь, и упоительно, и страшно, и вдруг видишь — к тебе протянута просвечивающаяся ладошка, и ты приземляешься из сна и смотришь, смотришь, и понять до конца не можешь, где ты. Неужто это уже рай и маленький ангел благословляет тебя прозрачной ладошкой-рыбкой?



«Ужин в раю» стоял на берегу океана. Нас провели к столику у окна. За ним, почти рядом, колыхался куст с бледно-розовыми цветами. Хохлуша замерла и смотрела на тихо качающиеся цветы.

Я взял ее за маленькую руку и повлек через боковую дверь на террасу, над которой свисали эти кусты с цветами. Кроме бледно-розовых, здесь еще оказались ярко-фиолетовые и даже нежно-зеленые. Все они тихо покачивались и смотрели на Хохлушу. А она внимательно их рассматривала и шевелила губами.

— Вони пісню співають сумну, а ми не чуємо їхні голоси. Я тільки ледь-ледь чую цю пісню. Вони співають про квіткову дівчину, яку вкрали птахи і принесли на маленький острівцець. Але дівчинка втекла звідти, бо на неї вдома чекав Горицвіт. Але вона поверталася додому півжиття. А коли повернулася, дізналася, що її друг Горицвіт засох від туги за нею. І тоді й вона засохла і вмерла. І її останні слова були: «Почекай мене, Горицвіте, голубчику, я йду до тебе...» («Они поют печальную песню, но мы не слышим их голосов. Я едва разбираю слова. Они поют о цветочной девочке, которую украли птицы и унесли на маленький остров. Но девочка сбежала оттуда, потому что дома ее ждал Горицвет. Долгим был ее обратный путь, почти полжизни. А когда она возвратилась, то узнала, что ее друг Горицвет засох от тоски по ней. И тогда она сама засохла и умерла. И ее последними словами были: «Подожди меня, Горицвет-голубчик, я иду к тебе...»)

— Хохлуша, ты правда слышала это?..

Она посмотрела в небо, потом на кусты, потом на меня.

— Може, я не все почула, але таке могло бути, могло, могло... («Может быть, я не все это услышала, но такое могло быть, могло, могло...»)

Я обнял ее за плечи, и мы пошли мимо качающихся цветов. Хохлуша прошептала:

— Вони вітають нас... («Они приветствуют нас...»)

На берегу мы увидели последние мгновенья жизни заката. Уставшее апельсиновое солнце погружалось в глубину океана. Хохлуша помахала ему рукой. Солнце почти все опустилось в изумрудную воду, оставалась только верхняя тоненькая полоска, похожая на обручальное кольцо. Потом все апельсиновое утонуло в изумрудном. Хохлуша грустно прошептала:

— Пішло сонечко від нас, мрії спливають, і сонце пливе за ними... («Ушло от нас солнышко, мечты уплывают, и солнце плывет за ними...»)

Пиво отливало золотом, а люстры, свисающие с лепного потолка, отливали золотистой голубизной. На официантах — шейные узорчатые платки с золотыми полосками. Столовые приборы тоже позолочены, а на хрустящих салфетках светились золотые вензеля с надписью Dinner in Paradise. И Хохлушино лицо стало отливать нежным золотом, и я спросил:

— Хорошо ли тебе сейчас, Хохлушенька?

И она пожала плечиками и стала шептать слова, как молитву:

— Добре мені, мій милесенький... Ти відвіз мене далеко, такий острів є на небі... Ми зараз на

цьому острові... Я танцювала з гномами, а ти боявся танцювати, щоб не наступити на них... А тепер ми сидимо у короля острова, і він пригощає нас найсмачнішою їжею в світі... Дякую Богу, що Він дав нам таку радість... І спасибі, що ти постукав у моє життя... («Мне хорошо, мой миленький... Ты увез меня так далеко, этот остров — будто на небе... Я танцевала с гномами, а ты боялся танцевать, чтобы не наступить на них... А теперь мы в гостях у короля острова, и он угощает нас самой вкусной едой в мире... Благодарю Бога, что Он дал нам такую радость... И спасибо тебе, что постучался в мою жизнь...»)

Я поцеловал ее пальцы, коснулся хрупких косточек, погладил их.

К нам подошел темноволосый менеджер ресторана, представившийся как Луиджи Моретти.

— Простите, но эта девушка принесла всем радость, обратите внимание, как люди смотрят на нее, на многих лицах появилась нежность...

Он поклонился и добавил:

— Наш ресторан дарит вам бутылку итальянского вина «Греччето». Это не простое вино, его называют вином пьянящей любви. Сейчас вы увидите его красно-гранатовый цвет, оно с бархатистым вкусом и ароматом фиалки.

И правда, вино переливалось гранатовым терпким цветом и мягко касалось губ.

Я смотрел на ее прозрачные руки и вдруг вспомнил строчки, кажется, это был Лорка: «Ее тонкие запястья, словно кастаньеты, в них встают и замирают нежные рассветы...»

На нашем столе горела свеча, а рядом, в простой темно-зеленой бутылке, тянулась вверх красная роза. Хохлуша смотрела то на менеджера, то на розу, то на горящий фитилек свечи. Она сжимала бокал с таинственным вином, костяшки пальчиков побелели от напряжения. Выпивает глоток и говорит, счастливо вздыхая и показывая на менеджера:

— Він, напевно, король цього острова... («Он, наверное, король этого острова...»)

А потом, заглядевшись в окно:

— Боже мій, добрий і праведний... Якби всі люди могли бути щасливими, як зараз я, то я б погодилася заради цього померти. («Боже мой, добрый и праведный... Если бы все люди могли быть счастливыми, как я сейчас, я бы согласилась умереть ради этого.»)

Она легко коснулась моей щеки.

— Чи можна заради такого померти, добрий мій? («Можно ли ради этого умереть, добрый мой?»)

— Не знаю, Хохлуша... Но тогда без тебя и я умру...

Она погладила шрам на моей щеке.

— Шрамик... Малесенький... Я і його кохаю... («Шрамик... Малесенький... Я и его люблю...»)

Пришли два официанта, расставили тарелки, на них были нарисованы синие птицы с красными хвостами. Официанты с гладкими черными волосами, зачесанными назад. Они поставили в центр стола блюдо с моллюсками в винном соусе. И одновременно сказали:

— Прего, сеньоре!

Хохлуша говорит:

— Треба нам помолитися... («Нам нужно помолиться...») — И, взяв мою руку в свою, накрыла ее сверху другой ладонькой.

И я сказал:

— Боже милосердний, сохрани и спаси всех, кого люблю и кого забыл. Хохлушу сохрани, и пусть она будет здоровой и счастливой. Детей моих сохрани и помилуй...

Я закончил молитву, а Хохлуша сидела с закрытыми глазами и гладила мою руку. Потом открыла глаза и посмотрела на меня так, что можно было в них прочитать все и увидеть все. Только закаты там были зелеными.

Моллюски пахли морем, и вкусное тепло поднималось от них. Я передал ей ложку, и она стала черпать винный соус, в котором плавали листики петрушки и мелко нарезанные помидоры. Я знал, что такую еду она ест впервые в жизни. Потом принесли кубики козьего сыра с тонкими сухариками и острым оливковым маслом. К нему положили две маленькие вилки. Хохлуша наколола вилочкой кубик сыра, обмакнула его в масло и застыла. Потом очень тихо проговорила, глядя на огонек свечи:

— Коли ми всі разом, то нещасні однаково. Коли ми поодиноці, кожен нещасний по своєму. Але навіть найгірша людина заслуговує любові. Любов — це зграї білих птахів, які шукають на чие серце опуститися. Іноді вони опускаються на закривавлені серця. І тоді серця починають вилікуватися. («Когда мы все вместе, то одинаково несчастны. Когда мы сами по себе, каждый несчастен по-своему. Любовь — это стая белых птиц, ищущих, на чье сердце им опуститься. Порой они опускаются и на окровавленные сердца. И тогда сердца начинают исцеляться.»)

Возле нашего стола остановилась смуглая девочка с корзиной цветов. Я знал, что Хохлуша не любит срезанные цветы, но девочку обижать не хотелось, и я купил букет из мелких, почти фио-

летовых роз. Тут же подошел один из гладко зачесанных официантов и поставил букет в тонкую вазу из синего итальянского стекла. Хохлуша замерла и стала о чем-то спрашивать фиолетовые розы.

А я, глубокомысленно упершись глазами в стену, думал о том, что в этом мире, отдельно от нас, живут наши тени. Они бесшумно двигаются, и мы в них не узнаем себя и тех, кто рядом с нами. Тени живут отдельно, делают все, что логично для сознания серой массы, а мы, те, что во плоти, — реальные, сумасшедшие, странные, совершаем нелогичные действия, часто даже отчаянные от безысходности течения нашей жизни. Но надо быть рядом с кораблями, плывущими по жизни, пока Всевышний не скажет нам: «Пора!»

А еще я подумал, что мир бывает как зеленое сочное яблоко. Можно вгрызаться в него так, чтобы чистые капли стекали по подбородку, так, чтобы весь мир от этого яблока казался зеленым, как ее глаза. В любви нет возраста, нет внешнего, там есть только Я и Ты, Ты и Я. И даже все некрасивое кажется прекрасным. Такое бывает очень редко... А у нас оно произошло.

Такими мы были в этой жизни с Хохлушей, и я ежедневно касался ее нежных пальцев, пока однажды ночью она не сказала:

— Милый мій, там, звідки я, йде війна. Я чую, як поранені діти кличуть мене. Я кохаю тебе, але повинна поїхати до них... Не бійся, я повернуся до тебе... («Милый мой, там, откуда я, идет война. Я слышу, как раненые дети зовут меня. Я люблю тебя, но должна поехать к ним... Не бойся, я вернусь...»)

Конечно, я отправился вместе с ней. Мы перелетели через океан и машиной приехали в места, где с двух сторон стояли солдаты. И неожиданно попали на праздник, который отмечали и те и другие. Война захотела отвлечься от крови и смерти. И потому все солдаты были пьяны.

На границе с Донецком нас остановили. Высокий молодой боец приказал выйти из машины и, слегка покачиваясь, сказал мне:

— Седой, если я тебя посажу в яму, а потом расстреляю, что ты скажешь мне перед смертью?

Я посмотрел в его жестокие мальчишечьи глаза:

— Ты не поверишь, но скажу, что я тебя люблю...

— Врешь, седой! Как сука последняя, врешь!

— Не вру... Эта девочка научила меня любить всех... Она научила меня любить больных детей, и мы приехали к ним... А если мы любим их, то должны любить и тебя...

— Так, — сказала закутанная в шалевый платок Хохлуша. — Так, братику мій, ми любимо їх, і ми любимо тебе... («Да, братик мой, мы любим их, и мы любим тебя...») — А тебя кто научил этому? Попы? А может, ты сумасшедшая...

— Ні, братику, це Він навчив мене любити всіх вас, я хочу всіх вас пригорнути до серця, тому що ви всі самотні без Бога... («Нет, братик, это Он научил меня любить всех вас, и я хочу всех вас прижать к сердцу, потому что без Бога вы все одинокие...»)

И Хохлуша показала пальчиком на небо:

— Це Він навчив... («Это Он научил...»)

Солдат отошел, снова вернулся. На лице его играли злые желваки, но глаза протрезвели:

— А сколько людей после тебя я еще убью?

— Після мене ти нікого не вб'єш. Якщо вб'єш, то ти будеш наступним! («После меня ты никого не убьешь. А если убьешь, то сам станешь следующим!»)

Другие бойцы окружили нас и молча рассматривали меня и Хохлушу. Хохлуша и тот высокий солдат были примерно одного возраста. Она подошла к нему ближе:

— Ти був добрим, та війна вбила добро в твоїй душі. Але душа твоя народить нову доброту. Побачиш... («Ты был добрым, однако война убила добро в твоей душе. Но душа твоя родит новую доброту. Увидишь...»)

Солдат смотрел на нее, смотрел и вдруг попросил:

— Скажи еще что-нибудь, и тогда я тебе поверю...

И тут Хохлуша освобождает из-под шали струящиеся черные волосы и громко шепчет ему:

— Два роки тому ти поховав свою матір. І після цього жодного разу не був на її могилі. Ти п'єш конфісковані в людей коньяк та горілку, гуляєш із повіями і думаєш, що ти крутий! Ні, ти ще прийдеш на могилу до своєї мамусі і будеш плакати там гіркими сльозами... І я, братику, буду плакати з тобою... («Два года тому назад ты похоронил свою мать. И после этого ни разу не побывал на ее могиле. Ты пьешь конфискованные у людей коньяк и водку, гуляешь с доступными женщинами и думаешь, что ты крутой! Нет, ты еще придешь на могилу своей матери и будешь плакать там горькими слезами... И я, братик, буду плакать с тобой...»)

Солдат побелел и закричал:

— Ты ведьма, да?! Ведьма?

А она засмеялась колокольчиковым смехом:

— Можливо, я і відьма, але я не зла відьма... Відьми не жалкують людей і не плачуть, а я жалію та плачу... («Возможно, я и ведьма, но я не злая

ведьма. Ведьмы не жалуют людей и не плачут, а я жалею и плачу...»)

Солдаты смотрели на нее, худенькую, с изумительными зелеными глазами, с распущенной гривой черных волос поверх шали. Потом они сказали, что если мы поедем дальше, это опасно, там стреляют и грабят машины.

Но мы поехали. И спустя полчаса в душе у меня заныло, будто птица закричала, которая потеряла птенцов.

— Вернемся, Хохлушик? — спросил я и остановил машину.

Она посмотрела на меня великой зеленой глаз. И я все понял. Мы поехали дальше.

А минут через сорок по нашей машине начали стрелять. Я выполз из кабины, потащил за собой Хохлушу, мы упали в траву, и тут Хохлуша вдруг вырвалась, поднялась и повернулась в сторону стрелявших. И пуля, эта проклятая пуля, ударила ее в грудь. И тотчас же стрельба прекратилась. Она покачнулась, удивленно посмотрела на меня, откинула назад свою прекрасную голову и стала медленно опускаться в траву.

Я прижимал рукой место на блузке, через которую сочно проступала кровь, похожая на то вино, что мы пили. Губы ее шептали:

— Нічого, нічого, улюблений мій... Не плач, мені не боляче... Не плач, любий мій, ми скоро побачимся... Коли ти не плачеш, я така щаслива... («Ничего, ничего, возлюбленный мой... Не плачь, мне не больно... Не плачь, любимый мой, мы скоро увидимся... Когда ты не плачешь, я такая счастливая...»)

Ладонь моя стала ярко-красной. Я знал, ей уже ничто не поможет. Я знал, что она умирает и у меня есть только минуты. Я шептал ей:

— Хохлушенька, подожди еще немноженько, чуть-чуть подожди... Хохлушонок, ну нельзя умирать так сразу. Хохлушечка, погоди...

А она тихонечко говорит своим колокольчиковым голоском:

— Я піду на небо раніше за тебе і чекатиму на тебе там. («Я пойду на небо раньше тебя и буду ожидать тебя там».)

Круглая слеза выкатилась из ее глаза. Она бы сказала — «кругленькая».

— І знаєш, мій мілесенький, там не плачуть, це тільки тут плачуть, а там ні! («И знаешь, миленький, там не плачут, это только тут плачут, а там — нет!»)

И еще одна круглая слеза покатила по родной щеке.

И еще она сказала, уже уходя, собрав последние силы:

— Я не хочу вмирати... Люди її вбили, а я знову її народила... («Я не хочу умирать... Люди ее убили, а я опять ее родила...»)

— Кого убили, Хохлушенька?

И уже посиневшие родные губы прошептали:

— Любов вбили... Коханя... А я і ти... ми знову її народили... («Любовь убили... Любовь... А я и ты... мы вновь ее родили...»)

Ее не стало. Бог не услышал мои молитвы. Я лежал рядом с ней. Ко мне подошли старик и женщина. Старик протянул лопату. Я вырыл могилу, снял с себя старый крестик и зарыл его с ней. Все деньги, что у меня были, я отдал старику и попросил:

— Навещайте ее...

И пошел, уже не видя и не слыша никого. Мне надо было собираться к Хохлуше и к Нему... Я вышел к берегу реки. Над миром стояла отчаянно синяя ночь. Я протянул руки к небу и закричал:

— Хохлуша, Хохлушенька, где ты?!

Когда я прокричал это в третий раз, мне показалось, что из ночных туч раздался ее колокольчиковый голос: «Любенький мій, я тут, я чекаю на тебе...» («Родненький мой, я здесь, я жду тебя...»)

И потом приплыла музыка. Наверное, ее послала Хохлуша. И музыка колокольчиково зашептала: «Люби меня, люби меня, несмотря ни на что! Люблю ли я тебя, нет ли, стою любви или не стою, умеешь ты любить или не умеешь, даже если на свете вовсе нет никакой любви и это просто выдумка — все равно люби меня!»